

В состоянии “emergency”: культурные эффекты

Аннотация

Несколько последних лет украинское общество пребывает в состоянии, которое в условиях системной турбулентности и войны на Востоке небезосновательно подпадает под дефиницию “emergency”, что указывает на возрастание социальной неуверенности и перемены в образе жизни людей. Состояние “emergency” концептуализируется в современной социологической литературе, следуя комплементарности центрального тропа “исключительности” и представлений о котируемых ее импликациях, обусловленных трансформациями различных общественных порядков. Реальность “emergency” одновременно продуцирует множественные топологии и темпоральности, конституируя аффективные атмосферы неотложности и ожидания размеренных ритмов общего и частного существования. В статье рассматриваются культурные эффекты, которые инициировались ценностной энергетикой событий зимы 2013–2014 годов, такие как “трансмиссия национального”, интенция “открытых шлюзов”, медиатизация “emergency”, осмысление которых требует как дискурсивных, так и нон-дискурсивных подходов.

Ключевые слова: *общественное состояние “emergency”, аффективные атмосферы финансовой нестабильности, культурные эффекты, культурные техники, трансмиссия национального в культуре и повседневности, медиатизация “emergency”*

Несколько последних лет украинское общество пребывает в состоянии, которое, в условиях системной турбулентности и войны на Востоке небезосновательно подпадает под дефиниции “emergency”. Внезапное опрокидывание стабильности, случившееся зимой 2014 года, уже не кажется сегодня столь удивительным и совершенно непредсказуемым ранее, не элиминируя, тем не менее, окончательно ощущения и ожидания обратимости нарушен-

ных ритмов жизни. На фоне нескончаемых миграционных потоков и террористических атак по всему миру точки отсылок и сопоставлений со временем меняются. Очевидная исключительность украинской ситуации, сместившая центрацию восприятия инсайдера с глобальных контекстов на сугубо локальные, определяющие “здесь и теперь”, постепенно поступает уникальностью. Исключительность модифицируется в “гипермодерное” состояние, и это становится видимым, в том числе и самым рядовым потребителям медиа. “Emergency” приобретает энергию экспансивности и перманентности, стремится к учреждению статус-кво, генерируя из вынужденных и упреждающих реакций образ жизни людей. Собственно, как и полагал Славой Жижек, предложивший этот концепт к широкому обороту, рассуждая о новой экономической диагностике современных обществ и глобальных рынков после финансового кризиса 2007–2008 годов [Žižek, 2010].

Развернутые в отношении данного предмета дискурсы охватывают артикуляции двух различающихся, но в то же время взаимосвязанных и взаимопроницаемых интенций, — исключительности как доминантной парадигмы понимания состояний “emergency” и “emergency-жизни” как длящегося сложного адаптивного процесса, насыщенного, а сегодня особенно, явлениями стохастической природы. Интерес к обсуждению инспирирован, прежде всего, вопросом о том, как управлять “emergency”, критическим анализом “политики исключения”, которая становится обычной правительственной практикой, далеко не всегда согласованной с либеральными и демократическими установками. Обсуждение предмета интенсивно [Massumi, 2009; Ophir, 2010]. Ему целиком посвящен один из специальных тематических номеров журнала “Theory, Culture & Society” недавнего времени. Дискуссии касаются импликаций “emergency” в различных областях социальной жизни, включая экономику и инфляционные процессы, проблемы безопасности в условиях непрекращающихся военных вызовов (война с наркотиками, терроризмом) и “бюрократического витализма”, “кибер-emergency”, программы борьбы со СПИДом, гуманитарной помощи, обыденных задач распределения ресурсов в локальных масштабах и пр. [Theory, Culture & Society, 2015].

“Emergencies”

Если и не безапелляционным, то, по меньшей мере, резонным и приемлемым воспринимается тезис “исключения становятся правилом”, поскольку линии разграничения исключительности и нормальности в современном мире, будь то структурные конфигурации разных регистров и размеров, сетевые сплетения, взаимодействия власти и повседневности и, тем более, культурная мобильность, расплывчатые и не четкие. Нахождение социальных порядков между фактами и нормами, или нелинейная соотношенность элементов и эмерджентных свойств социальных систем давно прочитывается как данность, согласно, например, Хабермасу или Луману. Не говоря уже о радикальной контингентности окружающего и транзакционности жизни, особенно в их медиатизированных версиях. Тем не менее, исключительность, возникающая как последствия событий, способных разительно изменить заведенный ход вещей, траектории воспроизводимых трендов, и усугубляемая сгущением эмерджентных склонностей системного свойства, остается фактически наблюдаемой и фиксируемой.

Можно сказать, что концепт *“emergency”* (чрезвычайные условия, чрезвычайное положение), получающий сегодня все большее распространение применительно к состоянию общества, соединяет в себе коннотации чрезвычайного, но также и расположенного за его пределами, то есть никак не ограничен представлением об эмерджентности как “нормальном” свойстве системы, но и не избегает его. Концепт *“emergency”* причисляют к кризисному вокабуляру, неординарно соотнося с терминологией “кризиса”, “катастроф”, “несчастных случаев”, “терроризма”, подразумевая под ним приостановку отлаженных социальных и культурных порядков, временное прекращение донныне действовавших правил, задержку или отсрочку декларируемого или ожидаемого развития [Adey et al., 2015]. Иногда он интерпретируется как состояние “осады” или “необходимости”, что позволяет легитимировать исключительность чтобы принимать суверенные решения, давать “исключительные ответы” в этой двусмысленной зоне, где исключения и правила “проходят друг сквозь друга” [Agamben, 1998: p. 37], одерживая верх с переменным успехом, ссылаясь на закон или его игнорируя. Подобный подход устанавливает фокус на понимание *“emergency”* в контексте политико-правовой техники перформативного (ре)утверждения привилегий легитимной власти в регуляции возникшего состояния.

Если распознавать *“emergency”* в особых анклавах социального бытия как отклонение и препятствие “нормальным” социетальным практикам, как квотированную *“emergency”*, внимание перемещается на рискованные для общественной безопасности субъекты, объекты, мобильности и события, угрожающие отлаженной циркуляции инфраструктурных систем транснационального порядка, его контролируемой динамике. Речь идет об алегальных, незаконных явлениях, создающих неотвратимую опасность для оснований глобального неоллиберализма, призванных поддерживать, например, корпоративную глобализацию, городское потребление, криминогенное спокойствие, легитимированный туризм и т.п., — то есть о тех явлениях, что должны быть сведены к минимуму, повседневной незаметности или, по меньшей мере, не осуществлять в повседневность свои коварные интервенции, вызывающие в ней физические и аффективные стрессы, и подлежать контролю. Предполагается, что сосуществуют мультиплицированные пути управления *“emergency”* и посредством *“emergency”*, и ни один из них не редуцирован к исключительности как технике, парадигме или топологии, хотя все они ее не обходят [Adey et al., 2015: p. 8–9].

Артикулируемая контекстуальность — одна из специфических черт состояния *“emergency”*, конституируемого и репрезентируемого турбулентным полем событий. События нагромождаются друг на друга, производя сиюминутные и затяжные эффекты, которым не суждено быть исчерпанными и следы которых не уничтожаются окончательно, независимо от того, воспринимаются ли они как значительные в каждый данный момент или же кажутся лишь сопутствующими, второстепенными. Обстоятельства экзогенного и эндогенного свойства, воспроизводимые и вновь образовавшиеся, привычные и неординарные, те, что сошлись воедино как исторически преднамеренное и случайное, — далеко не последние оформители *“emergency”* для общества, для сообществ и индивидов, оказавшихся в их водовороте. Образующиеся формы могут рассыпаться, будучи только что воздвигнутыми, обнаруживая каркасы прежних, проверенных временем, невзирая на ка-

залось бы узаконенные ценностями и практиками пороги допустимого и манифестируемые ныне. Часто это лишь видимость структурных и культурных преобразований, не затрагивающих остова, неких незыблемых оснований совместной и отдельной жизни. Дизайн поверхности весьма немаловажен для общественного комфорта, возбуждая, возможно, противоречивые реакции, но лишь позже испытание реальностью вынесет ему порицание или одобрение.

В украинском обществе, обнаружившем себя в таких обстоятельствах, преумножаемая неопределенность и ощутимые вибрации общего и частного существования не позволяют довериться чьим-либо гарантиям (институциональным и персональным) по поводу обратимости такого состояния или выхода из него, его обозримой длительности. Возникают риски, просчитанные и мнимые, не предотвратить его превращение в хроническое, перманентное, застрять в этом “пике”, что могло бы обернуться “переменой участи” для многих и общества в целом, поскольку культура “*emergency*” несомненно транслируется на способ жизни людей, их интуиции, намерения и действия. В то же время бытующая атмосфера “временности” происходящего, спродуцированная экстраординарностью событий разного масштаба, поддерживает у значительной части населения готовность расценивать такое состояние общества как временной интервал, промежуток, который необходимо пережить во имя невозврата к стабильности прежнего качества, во имя справедливого и лучшего будущего, используя открывшийся эмансипирующий ресурс.

Другая особенность пребывания в “*emergency*” — необходимость действовать, как в пользу адаптации к сложившимся обстоятельствам, так и в пользу отстранения от них, сопротивления им доступными способами, повседневными “народными тактиками идти в обход” (де Серто), или же личным и коллективным участием в проектировании если не радикальных, то, по меньшей мере, частичных изменений ситуации, следуя, в частности, моральным, идеологическим и прагматическим аспирациям. Состояние “*emergency*” продуцирует релевантность действия, которое, как ожидается, может дифференцировать ситуацию, снизив ее неопределенность, прояснить ее уязвимые локации, незамедлительно подлежащие корректировке, а главное, воспрепятствовать потенциальным ухудшениям. В этом состоит отличие, скажем, от ситуации “катастрофы”, “стихийного бедствия”, когда самое худшее уже необратимо, или же “кризиса”, предусматривающего институциональные режимы смягчения и контроля. Хотя, конечно, подобного рода различия весьма условны, отсылая лишь к самому общему образу “*emergency*”, некоей “воображаемой сигнификации” (Касториadis), связанной с ощущениями ургентности, неотложности, хорошо известной в медицинских показаниях. В том числе и поэтому здесь возникает активность, мобилизация обычной публики, способной, как ей кажется (что верифицируется результатами действия), помочь себе и другим в качестве ответа на страдания и небезопасность оказавшихся в тех же, что и они сами, обстоятельствах. Можно расценивать это как человеческую эмпатию или проявления солидарности, на что недвусмысленно указывает подъем волонтерского движения с началом войны на Востоке страны и другие гуманитарные инициативы. Впрочем, действие может быть направлено и на отстранение от ситуации, уклонение от коммуникации по поводу экономики и политики из-за идеологических несогласий, тщетности попыток что-либо изменить,

сосредоточенности на сугубо личных проблемах и пр. Текущие результаты “*emergency*” остаются скоплением неопределенностей, которые имеют свойство наслаиваться, аккумулироваться и уплотняться, конструируя мультиплицированные пространства-времени присутствия разного рода субъектов, вещей и событий.

Топологии и темпоральности

Реальность “*emergency*”, вписываясь в пространственно-временные координаты современной культуры — *множественность и одновременность*, если иметь в виду всевозможные сцепления гетеротопий, сочетающих несовместимые места и временные длительности, обладает и особыми онтологическими характеристиками. Имеющие отношение к культурному контексту будут интересовать нас здесь более всего. В пространственном измерении украинского случая — налицо искажения географических границ, изъятие из области достигаемого отдельных территорий, деформация пространств медийного доступа наряду с очевидным сокращением дистанций близости к отдельным местам и культурам. Темпоральное измерение на официальном и бытовом уровне фиксирует пульсирующую апологетику или, напротив, дискредитацию больших и малых исторических периодов как ставку в легализации настоящего, ближайшего и недифференцированного будущего. Тогда как индивидуальное внутреннее время, наше “*длящееся Я*”, как называл его Бергсон, зачастую разительно не синхронно ни астрономическим, ни запущенным в разных версиях культурным и политическим часам.

И топологические, и темпоральные порядки “*emergency*” многообразны, чем открывают простор различным классификациям, которые, скорее всего, окажутся уязвимы из-за ситуативных притязаний наблюдаемого состояния на исключительность, требовавшую бы, по меньшей мере, “насыщенного описания”, запечатлевающего детали. Пространства, несомненно, могут быть видимыми, непосредственно обозреваемыми или воображаемыми, символическими, утраченными и вновь обретенными или присвоенными. Но также и невидимыми, не самоочевидными, на которые имеются только намеки, подозрения в их существовании, относимые, в первую очередь, к политической, властной сфере, опутанной плотной сетью частных и корпоративных интересов. Вездесущие медиа инициативно или стимулированно снабжают публику немалым материалом для интерпретаций таких заповедных, закрытых зон, так что фрагментарно они проступают на поверхности, утаивая основное. Тем не менее, вопреки отсутствию отчетливо зримых аргументов для достоверного знания, в сплетении таких интересов элит, которое разрывается лишь под воздействием возобладавшей в данный момент структуры, похоже, мало кто сомневается. После Бурдьё топологический навык обозревать пространства с залежами разнообразных капиталов и отчаянной конкуренцией за власть над интерпретациями хорошо усвоен социологической практикой, и альтернативы социальному конструктивизму, как, к примеру, “*реляционная онтология*” гибридного мира Латура или критические предложения “*социальной топологии*” Джона Ло, его лишь оттачивают и совершенствуют.

И те, и другие пространства “*emergency*” присутствуют как в индивидуальном восприятии, так и в коллективном опыте — институциональном,

групповом, публичном, обиденном. При этом буквальность физического пространства в связи с посягательствами извне на территориальную целостность государства, а также энергичными усилиями изнутри по переподчинению материальных объектов, сообщает жизненно важный импульс, удерживающий повисшую и, как кажется, неустрашимую напряженность в обществе. Бесспорно, в физическое заносятся социальные семантики, а сами социальные и культурные протяженности и объемы не менее интенсивно идентифицируются в сменяющихся друг друга конфигурациях, запуская механизмы инклюзии — эксклюзии. Последние продуцируют сигнальные ориентиры членения культурной среды и исчисляемых в ней *humans* и *nonhumans* по *политико-культурным, криминально-правовым, гуманитарным и витальным осям, векторам развития.*

Эксклюзивные и инклюзивные процедуры с избытком воплощены в публичных и интимных дискурсах, программах, проектах, актах посредством оценочной сигнификации и перформативов иллюзорных, воображаемых или реально взаимодействующих в социуме единиц, которые позиционируют в пространствах или сетях. Поскольку подобная работа нескрываемая и демонстративна как в риторике власти и медиа, так и в повседневности, культурные поля колеблются с немалыми амплитудами, усиливая то ту, то другую операцию этого спаренного действия и перманентно реформатируясь. А в акторно-сетевом видении — культурные сети выталкивают смысловые и материальные узлы с изъяном, устремляясь к беспрепятственному функционированию; или, напротив, присоединяют к структурно-семантическим цепям физические объекты, вещи, не занимавшие в них ранее определяющего значения, такие, например, как оружие, подразумевая его безсубъектное присутствие в качестве все более распространяющегося аргумента действия не только в военных конфликтах, но и в домашних спорах. Кого включать, а кого исключать из значимых номинаций и по каким причинам и поводам, решается быстро, хотя и не один раз и по-разному, как это хорошо просматривается в антикоррупционной активности, в судебных жестах.

Если представления о пространстве связаны чаще всего с описаниями общества, сегментацией его структур и акторов, то диагноз времени указывает скорее на тенденции трансформации поля возможностей, то есть условий его изменения [Hammershøj, 2015]. Поэтому время как непреложный ресурс движения и перемен попадает в орбиту “политики времени”, которая, как ее понимает Петер Осборн, позволяет субъектам, правомочно и самопровозглашенно ее воплощающим, считать “временные структуры социальных практик специфическим объектом своего трансформационного (или охранного) намерения” [Osborn, 1995: p. xii]. Правомерно сказать, временные множества различаются сообразно освоенным “политикой времени” техникам и технологиям. Темпоральность может оформляться в виде отказа от прошлого или его цензуры, вплоть до легитимированных табу, нарушать которые возбраняется актуальной моралью и правом, инсайтов сингулярности события и персоны, пунктуальности происходящего, замораживания текущего момента в ожидании действия, как в случае затормаживания реформационных процессов; и, напротив, в виде ускорения действия, когда дело касается экономических и идеологических регуляторов массового поведения, как, например, введение повышенных тарифов на коммуналь-

ные услуги или законодательные инициативы декоммунизации. То есть в “политике времени” темпоральная оппозиция “поспешности — торможения” может наращивать интенсивность: поспешное становится еще более поспешным, подчиняясь мотиву неотлагательности, а замедленное еще более замедляется, охраняя устоявшееся. Не исключены и рекуррентные ритмы, символически именованные благодаря не столько историческим аналогиям (например, восприятие аннексии Крыма по аналогии с аншлюсом Судетской области Германией в 1938 году и т.п.), сколько ассоциациям с не так давно пережитым периодом, присутствующим в памяти действующих акторов. Заметное ухудшение криминальной ситуации, расширение пространств преступности, что имеет свои объяснения при сбоях системы, возвращает ощущения “лихих 90-х”; или, что особенно характерно для состояния “*emergency*”, охваченного переживаниями настоящего, в виде различных проекций будущего — от катастрофических, неподконтрольных или угрожающих, наполненных эсхатологическими предчувствиями, или же неопределенных, рассеянных, заслоняющих привычный и понятный линейный путь времени, до оптимистических сценариев, привносимых в делящийся теперь промежуток нечто определенно возможное и соотносимое с будущностью стабильных и благополучных обществ.

В качестве эпистемологических оснований “политики времени” исследователи склонны рассматривать “политику истины” Фуко, который встроил в инструментальные расшифровки генеалогии власти менеджмент общества и его членов посредством знания, имея в виду, что социум вырабатывает свои представления об истине, приемлемые для него дискурсы, выполняющие функцию правды [Foucault, 2007], принимаемой на веру в качестве таковой. Возбужденное “воображение *emergency*”, — (как предполагают Свен Опиц и Юта Тельман, ссылаясь на Луманову теорию социального времени, должно обладать механикой оператора), — культивируемые и развиваемые дискурсы о будущем как внезапных, непредвиденных и потенциально катастрофических событиях достаточно противоречиво воздействуют на разные области жизни. Они проблематизируют согласованность образов, например, финансовой и правовой перспективы, подрывают защиту порядка, установленного либеральным публичным законом, апеллируя к необходимости и неизбежности, но в то же время функционируют как темпоральное укрепление модусов основанного на событиях капитализма (*event-based capitalism*) [Opitz, Tellmann, 2015: p. 107–108]. Таким образом, космос “*emergency*” насыщен партикулярными пространственно-временными образованиями, которые ставят друг друга под сомнение, но отнюдь не преисполнены целью окончательного взаимного уничтожения, сложным образом сосуществуют, отстраняются и сталкиваются между собой, сгущая и воспроизводя атмосферу чрезвычайного, что трансформируется в обыденное.

“Атмосфера” возникает в терминологическом ряду не случайно. Скотт Лэш, концентрируясь на топологии и социальном воображении, характерном для современных социотехнических систем, вводит следующие объяснения. Феноменология открыла субъективности метафизический горизонт для конституирования смыслов бытия, который, подобно перспективе в живописи Возрождения, просматривается на отдалении. В нашей топологической модерности он рассеивается в атмосфере, воплощающей физическое и метафизическое. Тем самым материальность социального мира не утрачивает

первостепенности, но прежние символические формы репрезентации не улавливают этих изменений. В попытках их постичь и представить обращаются к настоятельности разрыва с символическим в пользу “реального” (Жижек), к артикуляции наделенного продуктивностью “воображаемого” (Касториadis) — и, определенно, к сферологической поэтике бытия Петера Слотердайка, описывающего три вида пространственной организации социального, из которых сфера “пены” (Shcdume) воплощает состояние множественности, нестабильности, случайности и децентрированности, взаимодействует со сферой “шара-глобуса” (Globen), глобальных проектов совместного людского существования, но и способна поглощать хрупкие сферы-“пузыри” (Blasen) индивидуальных контактов [Сивков, 2014]. Для Лэша атмосфера как сферическое покрытие ощущается изнутри, в пребывании в ней, как если бы мы вошли вовнутрь арт-инсталляции, что отсылает к незабытому утверждению МакЛуэна о том, что мы находимся внутри медиа, внутри объекта [Lash, 2012: p. 269–272], или, например, к предложению посмотреть на мир “глазами Гоголя”, обращенному к посетителям на киевском Гоголь-фесте.

Применительно к концептуализации “*emergency*” Дерек МакКормак подчеркивает аффективную материальность атмосфер, реагирующих на нарастающую изменчивость повседневной жизни, их темпоральные импликации. Здесь важно обратить внимание на аффективную и культурную интенсивность финансовой нестабильности, которая, превышая некий порог, трансформируется в бестелесное и нематериальное явление, как об этом говорят Делез и Гваттари [Deleuze, Guattari, 1988]. Воспринимается оно как некое атмосферное событие, которое захватывает своим воздействием, дестабилизирует привычки, аттитюды и практики людей, возбуждая для них риск “перемены участи”. “Такие атмосферы интенсифицируют все вокруг и могут ускользаться аффективными отношениями между людьми и объектами — отношениями, которые во многих случаях артикулируются посредством цены. Процесс можно описать в терминах изменений аффективного тона или температуры вещей, участвующих в повседневной жизни, как близкий к изъятию объектов у людей, процессу, приобретшему очертания у Беньямина” [McCormack, 2015: p. 142]. Возникающий на фоне возрастающей инфляции “аффективно-материальный ансамбль” заметно контролирует в повседневности ситуацию и перспективы выживания, сохранности или уверенности в отношении сложившихся форм жизни. Насколько существенна его активность в сегодняшнем украинском обществе, подтверждается многочисленными наблюдениями. В частности, по данным мониторинга “Украинское общество” в 2016 году, дальнейшее повышение цен возглавляет иерархию рисков (чего опасаются 80% населения), будучи единственным абсолютно совпадающим мнением в сегментах тех, кто доверяет медиа, известным продюсерам катастрофических мироощущений, и медиа-скептиков, в то время как в целом представления о рисках у них различны [Костенко, 2016].

Культурные эффекты

Конечно же, атмосферы финансового расстройтва, обволакивающие пространства жизни и корректирующие их ритмы, не без мощного воздействия фактора длящейся войны на Востоке, распределяются дифференцированно. Наиболее ощутимо они синтезируются вокруг категорий с невысо-

кими фиксированными доходами, в сопряженности с наличной социальной структурой. Но также они существенно зависят и от культурной компетентности и культурной чувствительности граждан, принадлежащих (умозрительно или фактически) к тем или иным культурным средам. Социальная и культурная топологии социума, как известно, не являются строго симметричными, хотя и несомненно испытывают непреодолимое взаимное влияние, одновременно подвергаясь резонансам происходящих событий. На возрастающие финансовые трудности значительная часть населения отвечает ограничением потребления, и мало кому удастся избежать лимитирующих практик, как, впрочем, и трансформирующихся в рутинные повседневных действий, направленных на то, чтобы каким-то образом уклониться от разрушительной инфляции — от тщательного отслеживания всевозможных потребительских акций до обмена информацией в интернете о технологиях замедления работы счетчиков электроэнергии. То есть стихийно или целенаправленно растрачиваются бóльшие, нежели прежде, энергетические и временные ресурсы на выработку некоего приемлемого алгоритма организации настоящего с тем, чтобы увереннее транспортировать его в ближайшее будущее. Такие тактики, направленные на извлечение пользы из случая, счастливой возможности могут свидетельствовать, говорит Мишель де Серто, об отсутствии собственного места у тех, кто им следует, о пребывании в не-месте, которое не позволяет накапливать преимущества и усиливать позиции [Серто, 2013: с. 109–112]. Точнее, собственная прежняя позиция не узнается, смутно различима, однако уровень притязаний, сформированный достигнутым накануне статусом семей и культурными предпочтениями, остается пока еще планкой, которая регулирует отказ от привычной системы расходов, сдерживание казалось бы необходимых трат в обмен на блага, обладание которыми еще недавно принималось за естественное.

Исследования фиксируют: культурным сегментам среднего и выше достатка приходится сокращать вложения в образование себя и детей, что характерно для *“инструменталистов”*, убежденных в том, что осведомленность в культуре способствует жизненному успеху. Ограничивают свои развлекательные, туристические привычки и практики *“заботы о себе” “эстеты”*, для кого немаловажно наслаждение произведениями литературы и искусства. Лимитируются практикуемые *“критиками”* — образованной, отверженной воспитательной доктрине публикой — приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования, затраты на хобби, досуг, книги и газеты, семейные торжества. Малоимущие же категории оказываются и вовсе в бедственном положении, когда они не в состоянии вовремя возратить кредиты, оплачивать мобильную связь и коммунальные услуги, как *“индифферентные в отношении культуры”* люди. Другие не в состоянии покупать необходимые лекарства и продукты, как в случае *“идеологов”*, материально ориентированных и пассивных; приобретать одежду и обувь, как в случае *“конформистов”* — низкооплачиваемых работающих и пенсионеров, тех, кто объясняет свое культурное неучастие дефицитом времени, финансовыми трудностями, проблемами со здоровьем [Костенко, 2015]. Разумеется, столь разнящиеся ограничения и лишения едва ли сопоставимы. Но во всех случаях повседневность изобретается, если не заново, то в измененных формах и ритмах. Искажения траекторий потребления в сопровождении переживаний urgency оставляет ощущение ущербности и уязвленности,

рискующей утвердиться надолго, препятствуя свободно мыслить и адекватно воспринимать события и перспективу. Поскольку ценовая нестабильность может рассматриваться как “ограниченная emergency неограниченной длительности” [McCormack, 2015: p. 144], это становится предметом биополитики и безопасности, ответственности национальных правительств, что неоднократно рассматривалось в контексте разработки систем мониторингов ценовой динамики после Второй мировой войны и в последующее время [McCormack, 2015].

Разреженная атмосфера “emergency” в сегодняшнем украинском обществе, тем не менее, производит и иного рода эффекты — собственно культурного свойства, которые инициировались импульсами событий зимы 2013–2014 годов. Среди наиболее заметных из них, фиксируемых непосредственно вслед за событиями или ощутимых со временем, просматриваются трансмиссия национального, интенция “открытых шлюзов”, медиатизация “emergency”.

Трансмиссия национального происходит в результате пересмотра проектов культурной идентичности, ее личных и групповых утверждений, рефлексивных и интуитивных выборов, согласно и в противовес институциональным сценариям. Тестирование таких проектов осуществлялось почти с обязательным символическим оснащением емкими и выразительными для манифестаций идентичности материалами. Распространенные форматы и механизмы совместного конструирования символического окружения отлаживались благодаря *спонтанному и реактивному участию* граждан, возбужденному ценностной энергетикой Майдана, последующей аннексии Крыма и вооруженного противостояния на Донбассе. Форматы известны: *ритуализация* национальной памяти и солидарности (от государственных наград героям до выражения скорби на концертных площадках), *инкорпорирование национальной символики* в повседневность (от исполнения государственного гимна в различных аудиториях, декора городских пространств до индивидуальных эмблем причастности), *промоушн принадлежности* (от обращения к теме национального в рекламе, постах и тегах веб-форумов, благотворительных и коммерческих мероприятий до использования национальных элементов в модном дизайне). То есть речь идет о сугубо культурных движениях, приобретших относительную автономию, подкрепляясь императивами базовых культур и вновь обретенных ценностных предпочтений.

В состоянии “emergency” символическая среда насыщается и раскаляется довольно быстро, но и столь же быстро способна остывать, оставляя в качестве культурных артефактов лишь избранное, смещая символические элементы с затухающими сигналами к периферии поля зрения. Помимо реконструкции символической среды, которая намеренно на виду, поддержана обоснованиями политического, идеологического, морального толка, трансмиссия национального, опираясь на интуитивные и рациональные механизмы, претендует на пересмотр онтологических порядков. Выборы идентичности в обстоятельствах неотложности инспирированы притязаниями на “собственное”, то есть пространство собственной власти и воли, дефицит которого столь ощутим в условиях долговременной ценовой нестабильности. “Это, если угодно, — полагает Мишель де Серто, — картезианский жест: очертить свое собственное в мире, околдованном невидимыми

силами Другого” [Серто, 2013: с. 109]. Идентифицированное как знание относительно собственного места, достигнутое усилиями воли, соотносённой с необходимостью, национальное легитимируется в качестве кода консолидации и солидарности, что воодушевляет гражданское общество.

Если не касаться вопроса о национальном, вписанном в организационные принципы политической модерности, изменение культурной онтологии в этой связи порождает эхо культурных импликаций. Как ценностная позиция, — приобретение дискурсивного и телесного опыта права держать в своем ведении и отвечать за это, определяемое собственным, пространство — возникает *волонтерство*. Добровольное инвестирование целевого и ценностного действия в общее благо, несмотря на манифестируемое общественное признание, сталкивается с массой препятствий — аксиологическим непониманием со стороны не вовлекаемых в такое движение, но также и конфликтами самоорганизационных и самореферентных его оснований со структурными и политическими, от которых волонтерство изначально принципиально отстранилось, конкуренцией различного рода партикулярных интересов и соображений материального, прагматического характера.

Отстаивание собственного места общества и трансмиссия национального интенсивно сопровождается *трансляцией кодов войны и очищения* лингвистическими, визуальными, цифровыми средствами, что удерживает коммуникативные сети в перманентном напряжении и сообщает аудиториям широкий спектр аффективных реакций, установок на знание, равно как и их блокировку, притяжение сакральным и скептицизм в отношении всевозможных интерпретаций происходящего. Доверие к медиа, ключевым трансляторам таких кодов, заметно падает во всех социальных и культурных стратах на фоне очевидной утраты авторитета самых значимых социальных и политических институтов. Причин тому предостаточно при разнообразии функций и возможностей современных медиа. Среди существенных, пожалуй, то, что украинские граждане расценивают СМИ как инструмент политического воздействия, публично допустимой репрезентации власти и недоляльностью к ним манифестируют свое недовольство текущей политикой, не убеждающей людей в эффективности и недвусмысленности ее позитивных усилий [Костенко, 2016]. В результате — и по прошествии двухлетия — коды войны и очищения, дающие ключ для разделения профанного и сакрального, столь необходимого для идентификации “собственного”, как показывает Джеффри Александер на примере отношения американцев к Холокосту [Александер, 2013], определенно участвуют в формировании повестки дня украинских медиа. Однако они все менее артикулированно считаются, рассеиваясь в информационных шумах, воспринимаемых не доверяющими медиа реципиентами.

На пути, влекущему к “собственному”, неизбежны пространственные ловушки закрытости, которая обычно подразумевается в политических эссенциалистских версиях национального. Риски покушения на собственное место, суверенитет государства в определяемых как исключительные обстоятельствах инициируют необходимые охранные ответы и могут утрировать подобные политические доктрины. Глобализация, как известно, обеспечивает новые контексты трансформации национальных идентификаций, образы национальных государств и обществ переосмысливаются посредством космополитического воображения. Интерактивные взаимодействия

глобального и локального в современном мире — это “не-линейный, диалектический процесс — считает Ульрих Бек — в котором универсальное и партикулярное, похожее и непохожее, глобальное и локальное должны восприниматься не как культурные полярности, но как взаимосвязанные и взаимопроникающие принципы” [Beck, 2006: p. 72–73]. Собственно, этими принципами не могут не руководствоваться в международной политике современных государств, включенных в потоки и сети глобальных трансакций и норм. В то же время в состоянии экзогенной и эндогенной небезопасности Украины *государственная политика раздвигает границы политически целесообразного в зоне культуры и информации*. Между тем вопрос о пороге приемлемого в информационном регулировании не находит единственно правильного решения, противоречиво воздействует на процессы трансмиссии национального, консолидации политической нации. В 2015 году с суждением “*Когда страна в опасности, очень важно ограничивать распространение культурных и художественных произведений, которые противоречат нашим идеалам и ценностям*” согласилась в разной степени почти половина опрошенных в мониторинге “Украинское общество”, в то время как треть выразила в разной степени несогласие. Что же касается политической коррекции окружающей символической среды (переименования населенных пунктов, предприятий и улиц), то здесь неприятие преобладало во всех культурных сегментах, хотя культурные реакции граждан были далеки от единообразия, что требует публичных обсуждений и компромиссов в осуществлении регулятивных действий [Костенко, 2015].

Интенция “открытых шлюзов” означает расширение горизонта возможностей — ожидания, проекции, реализации индивидуальной и групповой креативности в самых разных областях, благодаря энергии обновления, организация культурных событий (акции, флеш-мобы, перформансы, образовательные и развлекательные проекты), в том числе и через социальные сети, где потребители, будучи незаметными ранее производителями культурного содержания, обретают признание. Такой эффект, что нередко сопровождается массовые протестные движения под лозунгами свободы, в определенной степени преодолевает закрытость и возведение кордонов, предусмотренных регулятивными процедурами в трансмиссии национального, обеспечивает выход к находящимся в обороте глобализованным образцам, предъявляя свидетельства своей суверенности. И собственно хаотичность и наивысшие ритмы культурных действий не воспринимаются в качестве исключительности текущего момента, поскольку изменчивость мультиплицированных культурных форм в последние десятилетия считается нормальным и имманентным состоянием. Подчеркивая это обстоятельство, исследователи топологических порядков современной культуры полагают, что “культура все более и более организуется в терминах ее способности к изменениям. Тенденции к инновациям, к инклюзии и эксклюзии, к выразительности возникают в культуре как поле связности, то есть как упорядоченное посредством неразрывности, но не как структура, основанная на сущностных свойствах, таких как архетипы, ценности и нормы, или региональная локация” [Lury et al., 2012: p. 5].

Эти полемические, но, несомненно, набирающие влияние подходы, нондискурсивные теории настойчиво уведут исследования за пределы

текста, который подразумевает интерпретацию в поисках значений и смыслов (чем культура виделась долгое время), и перемещают фокус на технологическое измерение культуры и медиа — в контексте раскрытия “безмолвных процессов знания” посредством демонстрации обработки объектов и использования инструментов (Латур), постижения смыслов, минуя герменевтические операции (Гумбрехт), или трансформации “лингвистического поворота” в “медиа поворот”, аргументирующий, что медиа не только осуществляют коммуникацию, но и производят то, что они коммуницируют (Киттлер), как, впрочем, и упреков дискурсивным теориям в недооценке эпистемологической власти имиджей. Концепт культуры приобретает новые контуры, суммируют Сибилл Крёмер и Хорст Бредекамп: “Культура больше не дело монолитной неподвижности, застывшей в трудах, документах или памятниках, но перетекает в наши ежедневные практики с объектами, символами, инструментами и машинами. Право исключительности, которое язык вытребовал для себя (относительно представления культуры), более не бесспорно. Именно во взаимодействии языка, изображения, письма и машин — во взаимности между символическим и техническим, между дискурсивным и иконическим — культуры появляются и воспроизводятся” [Krämer, Bredekamp, 2013: p. 24]. В обыденных представлениях о культуре пересмотр утвердившихся взглядов на текстуальные культурные основания весьма выразителен. По данным EUROSTAT, в 2007 году четверть европейцев ассоциировали культуру с “литературой, поэзией, драматургией и авторами” (24%), в то время как около 40% — с “исполнительским и визуальным искусством” [Cultural Statistics, 2011: p. 147].

Интерес к технологическому аспекту культуры направляет внимание к *культурным техникам*, которыми осуществлялась и осуществляется сегодня культура. Культурные техники (Kulturtechniken) — многослойный концепт, который часто вписывают в совершенно специфические подходы, и центрация на нем в последнее время инициирована разработкой немецкой теории медиа, отсылающей к трудам Фридриха Киттлера. Дебаты по поводу того, что преимущественно синтезировано в этом концепте — онтологические преимущества культуры или же техники, — достаточно энергичны, привлекая постгуманистические, техноцентрические, но также и антропологические интерпретативные аргументы [Winthrop-Young, 2013]. Между тем, рассуждения о культурных техниках обнаруживают, что не существует документа культуры, который в то же время не был бы документом техники [Winthrop-Young, 2013: p. 6], и ими должно владеть (или же они завладевают нами, встраивая в свой алгоритм?), чем определяется культурная компетентность, способность вовлечения в культуру, культурную партиципацию. Помимо “элементарных” культурных техник, таких как письмо, чтение или счет, для осведомленности в культуре сегодня не обойтись без того, что именуют компьютерной и медиаграмотностью. Будем ли мы трактовать медиа как механизмы оповещения, коммуникации и трансляции смыслов или же как рефлексию техники и технологии о самих себе, технологическая оснащенность индивида оказывается решающей в культурном действии. Речь не идет исключительно о медиа-специфических ментальных и концептуальных умениях, изоциренном знании и навыке присоединяться к мировым сетям или безошибочно различать намеренные и ненамеренные сообщения, вымышленные или документальные сюжеты, но, скажем, и о владении “тех-

никами тела”, как их понимал еще Марсель Мосс, рассказывая о стиле прогулки и манере ходить в разных странах, привитых кинематографом и совмещающих биологические и кинетические реакции с культурными ожиданиями, что также указывает на перманентно изменяющуюся зону, где эта совмещенная конфигурация присутствует [Мосс, 1996: с. 242–263; Winthorpe-Young, 2013: р. 6]. Похожим образом, управление смартфоном, съемка, selfie в экстремальных ситуациях требует особых “техник тела”, связывающих воедино культурный продукт, источающий смыслы, техническое устройство с непостижимой природой, выбрасывающее на поверхность лишь перечень операций, и телесные усилия.

Едва ли можно утверждать, что в общественном состоянии “*emergency*” интенции “открытых шлюзов” для разного рода культурных намерений обернулись широко практикуемыми действиями. В 2016 году лишь каждый двадцать пятый взрослый человек в Украине активно участвовал, например, в организации и проведении культурных мероприятий — фестивалей, уличных праздников, художественных ярмарок, конкурсов и т.п., хотя репрезентация этих событий посредством интернета расширяет их пространство до более внушительных размеров, воспроизводя и укрепляя перспективу свободной партиципации.

Медиатизация “emergency”. Определение влияния медиа становится сегодня труднодоступным и сложно просчитываемым предприятием, и любые категоричные оценки на этот счет условны в возникшей контекстуальности. Обстоятельства сообщают информационным и коммуникативным трансляторам необходимость отстаивать национально-политическую идентичность в условиях информационных атак извне, но также и энергичной политической мобилизации на рынке медиа, конкурирующей активности интернета и пр. Тем не менее, несмотря на пошатнувшийся авторитет украинских СМИ в качестве необходимого и достаточного информатора, их участие в продуцировании общественного климата довольно существенно.

Как это и происходит в современности, традиционные и новейшие медиа перманентно уточняют координаты любых возможных идентификаций, производят многочисленные согласованные и рассогласованные эффекты, конституируя и изготавляя “*emergencies*”. Медиа в состоянии транслировать и генерализованные образы, претендующие на тотальные картины мира с его глобальным охватом, и фрагментарные имиджи в рамке национальных вещательных фреймов, *инвестируя аффективные атмосферы* неотложности и ожидания, темпоральной рассредоточенности, колеблющейся топологии существования. Идеология медиа такова, что они регулярно и настойчиво оповещают аудитории о том, что “в действительности” есть стоящим предметом для беспокойства и размышлений, поскольку значимый окружающий мир вовсе не тот, каким кажется занятой своими проблемами повседневности. Это никак не предполагает исключительную внимательность аудиторий к повестке дня медиа; напротив, невнимание и индифферентность характерна для значительной её части. Однако привычность, рутинность, с которой медиа присутствуют в нашей жизни, давно уже приучили публику к “медиатизированной социальности” [Frosh, 2011], что проявляется, например, в феноменах “дистанционного страдания” и обратном эффекте “усталости от сочувствия” [Beck, Levy, 2013: р. 19–20], столь очевид-

но характерных для украинского общества с дрящимся военным противостоянием.

Медиатизация “*emergency*” обеспечивает особые темпоральные нарративы, одновременно возбуждая удручающие переживания относительно настоящего и ближайшего будущего, но и наделяя их немалыми шансами. Ульрих Бек и Дениел Леви указывают на свойственный современным медиа механизм *премедиации* будущего, что не подвержена прогностическим амбициям прежних времен или задачам контролировать грядущее. *Премедиация* не затрагивает вопроса о том, насколько аутентичны репрезентации причинно-следственных связей событий и явлений, предлагая различные версии “дискурса правды”. Медиа подразумевают незнание публики на этот счет и упрочивают его структуры, определяя незнание предпосылкой воображения будущего и ремедиатизированного прошлого [Beck, Levy, 2013]. Незнание расценивается как допустимое и приемлемое, как “регулируемая утрата информации” в условиях ее избытка и дефицита времени современного человека [Большц, 2011: с. 19]. Доверием к медиа *незнание легитимируется*, поскольку служит своеобразным “инструментом институциональной экономии”, упраздняющим задачу проверять информацию и устанавливать ее достоверность [Розанваллон, 2012]. Установка на незнание характерна для тех, кто ориентирован на медиа, оставаясь вполне уверенным в своей финансовой выдержке, невзирая на “атмосферное давление” инфляции, и заслоняясь от возможных когнитивных диссонансов. Но незнание — это и платформа для невнимания, отсутствия интереса к медиаинформации или ее неприятия, подозрения в недоброкачественности и предвзятости. В особенности это свойственно социально неблагополучным категориям, чье существование в усугубляемом состоянии “*emergency*” граничит с экзистенциальным и физическим выживанием, и официальные сведения об обнадеживающем управлении их ситуацией не воспринимаются убедительными. Доверие утрачивает способность компенсировать эти когнитивные пробелы, и аудитории приобретают “право не знать” и не доверять, чем расширяется функциональная пригодность незнания. Перед рефлексирующим потребителем возникает дилемма: или искать новые источники информации, или принять за данность тот факт, что медийная публичная сфера общества страдает двусмысленностью, и на такую коммуникацию нельзя полагаться. Резонно рассуждать о типах темпоральных проекций, формирующихся как достаточно сложные комплексы рационализированных представлений и субъективных значимостей индивидов.

Впрочем, публичная сфера модифицируется структурно и сущностно, конституируясь с подключением новейших медиа. Именно таков ее современный вариант, где определяющая роль принадлежит телесному взаимодействию людей с гаджетами онлайн-коммуникации, молниеносно связывающими информационные сети в разных направлениях [Butler, 2011]. События Майдана очевидно это продемонстрировали, должно быть впервые в Украине предоставив опыт столь масштабной добровольной мобилизации, основанной на *медийных инверсиях публичного и частного*, но также человеческого и технического. Подобные смещения в социальной онтологии не в последнюю очередь обусловлены медиа-зависимыми онтическими операциями, которые в ходе технико-материальной деконструкции видятся процессорами особого *медиального* пространства, не принадлежащего ни вос-

принимающему субъекту, ни воспринимаемому объекту [Winthrop-Young, 2013: р. 12–14]. Антропологическая аналогия, не раз упоминаемая в этой связи и взятая из прекрасного эссе Зиммеля “Мост и дверь”, описывается Бернардом Зигертом как операциональный порог, который создает различия между “внутри” и “снаружи”, находясь между этими двумя территориями в качестве утаиваемого третьего, не раскрывающего, из каких технических операций оно возникает [Sieger, 2012]. У Зиммеля, между тем, буквальная и символическая воплощенность двери попадает в контекст рассуждений о человеке как о существе соединяющем и разъединяющем, существе ограниченном, но не имеющем пределов, выйти за которые к свободе и позволяет движение дверей [Зиммель, 2013: с. 149–150]. И дискурсивные, и недискурсивные, антропоцентрические и техноцентрические концептуализации медиа в их расширенном значении, осмысливая механизмы конституирования и воспроизводства состояния “*emergency*”, обладают впечатляющими аргументами и привлекательными метафорами, которые требуют соотнесенности, совмещенности и избирательности. Сколь неординарно внедряются в обиход новые культурные техники, показывает пример е-деклараций доходов в Украине, медиатизирующих, помимо идеи прозрачного контроля, “витальные” статусные интересы.

Пробыванием общества в интервале “*emergency*” производятся новые системные уязвимости, связанные с реформатированием прежних социальных и культурных порядков, резонирующим во все сферы жизни фактором войны на Востоке. В понимании данного общественного состояния не обойтись без комплементарности центрального тропа “исключительности” и представлений о квотированной “*emergency*”. Экономические регуляторы и мониторинговые инструменты, тексты и культурные практики продуцируют особые топологии и темпоральности, предполагая различные логики их постижения и управления, которые наследуются из классической социологии и вырабатываются сегодня.

Источники

Александр Дж. Смыслы социальной жизни: Культурология / Александр Дж. ; пер. с англ. Г.К. Ольховикова ; под ред. Д.Ю. Куракина. — М. : Праксис, 2013.

Больш Н. Алфавит медиа / Больш Н. — М. : Европа, 2011. — С. 19.

Зиммель Г. Мост и дверь / Г. Зиммель // Социология власти. — 2013. — № 3. — С. 149–150.

Костенко Н. Співвіднесеність із культурою в стані “emergency” / Н. Костенко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — 2015. — Вип. 2(16). — С. 390–405.

Костенко Н. [в печати]. Недовіра до медіа: структурні та культурні пороги припустимого / Н. Костенко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — 2016. — Вип. 3(17).

Мосс М. Техники тела / М. Мосс // Общества, обмен, личность. — М. : Наука, Глав. ред. восточ. литературы, 1996. — С. 242–263.

Розанваллон П. Контрдемократия: политика в эпоху недоверия [Электронный ресурс] / П. Розанваллон // Неприкосновенный запас. — 2012. — № 4(84). — Режим доступа : <http://magazines.russ.ru/nz/2012/4/r2.html>.

Серто М. де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / Серто М. де ; пер. с франц. Д. Калугина, Н. Мовниной. — СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2013.

Сивков Д.Ю. Иммуитет в камне: архитектурная теория Петера Слотердайка [Электронный ресурс] // Д.Ю. Сивков // Социология власти. — 2014. — № 2. — Режим доступа: <https://www.litres.ru/d-u-sivkov/immunitet-v-kamne-arhitekturnaya-teoriya-petera-slosterdayka-18530274/>.

Adey P. Introduction: Governing Emergencies: Beyond Exceptionality / P. Adey, B. Anderson, S. Graham // Theory, Culture & Society. — 2015. — № 32(2). — P. 3–17.

Agamben G. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life / G. Agamben ; Trans. Heller-Roazen D. — Stanford, CA : Stanford University Press, 1998.

Beck U. The Cosmopolitan Vision / Beck U. — Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2006. — P. 72–73.

Beck U. Cosmopolitanized Nations: Re-imagining Collectivity in World Risk Society / U. Beck, D. Levy // Theory, Culture & Society. — 2013. — 30. — P. 3–31.

Butler J. Bodies in Alliance and the Politics of the Street. Lecture held in Venice, 7 September 2011, in the framework of the series The State of Things, organized by the Office for Contemporary Art Norway (OCA) [Electronic resource] / J. Butler. — 2011. — Access mode: <http://www/eipcP.net/transversal/2011/butler/en>.

Cultural Statistics // EUROSTAT. — Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011.

Deleuze G. Thousand Plateaus / G. Deleuze, F.A. Guattari ; trans. B. Massumi. — London : Athlone, 1988.

Foucault M. Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 1977–1978 / Foucault M. — New York : Palgrave, 2007.

Frosh P. Phatic morality: Television and the proper distance / P. Frosh // International Journal of Cultural Studies. — 2011. — 14(4). — P. 383–400.

Hammershøj L.G. Diagnosis of the times vs description of society / L.G. Hammershøj // Current Sociology. — 2015. — March, 63. — P. 140–154.

Krämer S. Culture, Technology, Cultural Techniques - Moving Beyond Text / S. Krämer, H. Bredekamp // Theory, Culture & Society. — 2013. — 30. — P. 20–29.

Lash S. Deforming the Figure: Topology and the Social Imaginary / S. Lash // Theory Culture Society. — 2012. — 29. — P. 261–287.

Lury C. Introduction: The Becoming Topological of Culture / C. Lury, L. Parisi, T. Terranova // Theory, Culture & Society. — 2012. — 29. — P. 3–35.

Massumi B. National enterprise emergency: Steps towards an ecology of power / B. Massumi // Theory, Culture & Society. — 2009. — 26(6). — P. 153–185.

McCormack D. Governing Inflation: Price and Atmospheres of Emergency / D. McCormack // Theory Culture Society. — 2015. — 32(2). — P. 131–154.

Ophir A. The politics of catastrophization: Emergency and exception / A. Ophir ; Fassin D., Pandolfi M. (eds.) // Contemporary states of Emergency: The Politics of Military and Humanitarian Interventions. — New York : Zone Books, 2010. — P. 59–88.

Opitz S. Future emergencies: Temporal politics in law and economy / S. Opitz, U. Tellmann // Theory Culture Society. — 2015. — 32(2). — P. 107–129.

Osborn P. The Politics of Time: Modernity and Avant-Garde / Osborn P. — London : Verso, 1995.

Siegert B. Doors: On the materiality of the symbolic / B. Siegert // Grey Room. — 2012. — 42. — P. 6–23.

Theory, Culture & Society. — 2015. — 32(2).

Winthrop-Young G. Cultural Techniques: Preliminary Remarks / G. Winthrop-Young // Theory, Culture & Society. — 2013. — 30. — P. 3–19.

Žižek S. A permanent economic emergency / S. Tižek // New Left Review. — 2010. — 64, July–August. — P. 85–95.